

Раздел I IN MEMORIAM

И. А. Дергачев

«Мечтатели»

Отрывки из глав 1, 3, 8, 4, 14¹

При въезде на Лазаревское подворье в Перми Петр был арестован двумя жандармами и отвезен в контору при полицейском управлении.

Уже стемнело. Свеча в фонаре вышедшего на звон колокольчиков служителя тускло освещала зашарканное ногами и заплеванное крыльцо унылого серого здания. Окна губернаторского дома напротив были ярки. Доносилась музыка, мелькали лица. Начинался новогодний бал.

Петр шагнул за темный порог. Скрипнула дверь. Совершились обычные формальности:

— Чьих господ? Фамилия? Имя? Отчество? Вероисповедание. Все. Возьмите арестанта.

Железная решетка захлопнулась за ним. В камере было совершенно темно. Нашупал доски кровати и сел. Он вспомнил замешательство Феди, когда передавал ему бумагу, вспомнил мелькнувшую в серебряной пыли декабрьского снега фигуру Клопова и понял все. Он знал, что отсюда ему уже не выйти.

— Любаша, милая, — только шевельнулись губы.

Так Петр Поносов, крепостной служитель Чермозских владельцев господ Лазаревых, практикант при заводском действии, стал арестантом.

(Начало романа)

...Он помнит первые дни проснувшейся любви. Соседская девочка, четырьмя годами моложе него, не задевала воображение, занятое иными более

¹ Екатеринбург, ЦДООСО, ф. 1615 (Уральская ассоциация советских писателей), оп. 1, д. 2. Содержание: л. 53–56 — «Мечтатели»; л. 56 об. — пустой, л. 57–60 — «Мечтатели»; л. 60 об. — письмо в издательство. Тексты написаны почерком И. А. Дергачева на линованной бумаге, синими чернилами, находятся среди других литературных текстов. Сохранилась частичная авторская нумерация: л. 1–4. Публикация подготовлена Л. С. Соболевой. См. также ее статью на с. 16.

сильными и красивыми людьми, иными, более значительными и прекрасными событиями из книг. Но жизнь все-таки была жизнь.

И он помнит.

Гряды уже начинали зеленеть. Тонкие вилочки моркови, тычинки гороха, узорчатый листок репы пробивали примоченную землю. Ровные борозды сбегали к пруду. Там на весенней лужайке стояла старая, иссеченная дождями кадка с водой, прикрытая половиками, и около нее, вся сжавшись и подобрав босые ноги под юбку, сидела Любаша. Она раскачивалась из стороны в сторону в напрасном старании избыть горе. Руки, сцепленные на коленях, сжимались, как бы стараясь удержать уходящее без возврата. Голова с большой косой бессильно свисала не в состоянии держаться от упавшей на нее беды. Любаша громко плакала и не заметила подошедшего к ней Петра. Он тихо встал возле. Все слова были ненужными, неточными. Они не могли выразить возникшую нежность, сочувствие, тоску. И только концы дрожащих пальцев да глаза голубые затуманенные были вместо слов.

Когда она, наконец, вскинула заплаканное лицо, Петр опустил рядом с ней на колени.

— Петь, Петенька!.. Что теперь будет?.. Не могу я, не могу-у... Наш Вясятка, помер маленький...

Она вся прильнула к нему, прося защиты от надвинувшейся беды, от ужаса смерти близкого...

Так с того дня, дня смерти ее двенадцатилетнего брата, погибшего той порой в заводе, осталась нежность, сочувствие, окрепла любовь...

(Из главы 3-й)

...Десять суток прошли в полусне. Скрип полозьев был надоедлив. Леса растут лишь, чтобы пропустить возок и опять замкнуться в молчании.

Порой по обочинам дороги жались обозы. Лошади увязали по брюхо в снегу. Унылые крестьяне стояли у оглобелей. Хмурые лица, поросшие бородами, долгим взглядом провожали казенную тройку. Время от времени они останавливались на постоялых дворах. С клубами пара входили, низко нагибаясь, в черные теплые избы.

Ямщики сидели за столами на длинных лавках. Перед ними плавал пар и запах горячих щей вызывал слюну. Красные обветренные лица были сосредоточенны, пахло прелой овчиной тулупов, печеным хлебом, копоть покрывала стены.

Затихал говор, плакал неугомонный ребенок, за пестрядевой занавеской, жандармские голоса были строги. Они вспугивали сидящих ямщиков. Те жались на лавках, потом выходили во двор. Они скрывались, еще не выйдя, в клубах пара.

Арестанты обедали молча. Петр не поднимал головы. Надоели белые снежные дороги, плотная спина жандарма, серая фигура ямщика на облучке и унылый, как северная природа, настойчивый звон колокольчика.

Таких постоялых дворов прошло уже много. Все они казались одинаковыми. Петру запомнился только один. Он сидел в ожидании лошадей. Его внимание

привлекла скатерть. Красные, с растопыренными перьями и ногами врозь, петухи были вышиты по белому полю. Петухи были похожи на растрепанных орлов с гербовой бумаги.

Молодая хозяйка, у нее были глубоко впавшие ласковые глаза, погладила его по волосам. Он сказал — голос был хриплым от долгого молчания и морозного ветра дорог:

— «Государевы птички пощипанные вышиты? Похоже. Только когти у них стервячи».

Жандарм бросился на него, затопал ногами, обветренное лицо стало еще кра-снее, подтолкнул к порогу и поносными словами подгонял запрягавших ямщиков.

Так и запомнились Петру глаза молодой хозяйки — такие глаза, как у Любаши. А всю ночь снились не то петухи, не то орлы и были они красного цвета, а с когтей у них будто капала кровь...

...Этот двор был, как другие. И лица казались похожими, встречавшимися. ...

Снова на дворе колокольцы. Выходили в морозный воздух, садились, белизна летела из-под копыт, и снова: снежная пелена полей, ели с белой оторочкой, кресты и церковь заметенного кладбища. Проезжали мимо алтаря. Фресковый неправдоподобно худой Николай-чудотворец смотрел осуждающе и сурово. Некому было жаловаться, не с кем было поделиться тем, что на душе, на душе были тоска, страх и гнев...

(Из главы 8-й)

Штабс-лекарь Фридрих-Амадей Ламони сидит в своем кабинете. Ровно выстроганные бревна золотит солнце. Его лучи проникают в окно, выхватывают из полумрака портрет в простой раме, шкаф с книгами, освещают письменный стол.

Ламони сидит в глубоком кресле. Его белые с синими узлами вен руки поко-ятся на коленях. Следы долгой жизни глубокими морщинами легли на лицо.

Улица полна гомона. В звучании песен, в мальчишеских криках, в птичьей возне на деревьях, что растут под окном, врывается пьяное бормотание:

— Пришел этта я в контору, а мне и начинают честь. Сходного, говорит, 50 пуд, а несходного 40. Да скажи ты мне, когда я столь несходного давал. Да, ежели я не мастер, так нечего мне крицы в руки давать. Ну ладно давай, говорю, дальше. Вот, чем он жил, да, говорит припасов господских брано, да на постройку брано с вычетом, а всего тебе, говорит, причитается пять гривен... Ну куда я с ними?..

— Пропил, значит?

— Пропил и есть. Съездил в Усть-Косьву, купил слезы пресветлой в скля-ночке и выпил. Как не выпить? Слезами землю поливаем, слезами и горе заливаем...

Лекарь подвигает кресло к столу, берет чистый лист бумаги и разглаживает его. Он пишет, не останавливаясь, угловатым размашистым почерком.

Господину Флухарту — аптекарю.

На Васильевском острове по 2-й линии в собственном доме, в городе Санкт-Петербурге.

Черновской (?) завод.

Дорогой друг юношеских лет!

Года мои преклонны и короток путь к могиле. Уже шесть лет я живу в этом, заброшенном далеко на север, к границам Азии, заводе.

Перед моими глазами расстилается темная масса застойной воды. Далекие берега пруда ограничены темными бесконечными лесами. Черный силуэт домны с вечным заревом пожара над ней не дает мне спать. Темной жизнью живет завод, завод блестящего европейского человека, кавалера и камергера двора господина Лазарева. Этот сановник, господин и повелитель десяти тысяч душ, никогда не видел своего владения. Его заботливость о своих подданных видна хотя бы из того, что я живу здесь.

Я лечу немощи изнуренных рабским трудом и беспросветной жизнью людей. Все страдают ревматизмом — следы работы у горячих горнов и молотов, приводимых в действие ледяной водой; их женщины мучаются тяжелыми болезнями, которые приобретают они, их маленькие дети бледны и золотушны. Они зиму проводят на горячих печках темных низких изб. Весной, вместе с первой молодой травой появляются и они, болезненные и вялые. Многие из них умирают — я бываю бессилён помочь. Здесь надобен уже не медик, а реформатор.

Старческая бессонница мучает меня. Долгими ночами я смотрю на зарево над заводской домной, и мои слабые старческие шаги раздаются в пустых комнатах большого дома.

Зимой от мороза трещат бревна, из которых сделано мое жильё, пахнет угаром. Солнце — нестерпимо яркое, как будто само изливает холод на белую равнодушную природу. Оно часто бывает одето венцом. Летом же, когда жара дожелта высушивает траву, начинаются лесные пожары. Дым, удушливый, почти незаметный вблизи, застилает солнце.

Так идут года. И двадцать лет жизни в России прошли незаметно. А сейчас на склоне лет, видя в зеркале седеющую голову и глубокие морщины, я вспоминаю юность.

Яркие солнечные дни, родина, идеалы... Мне приходят на память годы учения, дружба, сердца, любовь... Восторженные хороводы в Ваале среди молодых дубов, клятвы в верности, борьба за человеческое счастье, и прелестная Петтина фон Штернберг...

Любовь к человечеству, «бурные стремления», Вилланд, Клиндер, Гёльти, швейцарские Альпы. Рокороль Жан Поля, Гете — теперь прекрасные покойники, ушедшие из жизни, померкнувшие в памяти.

Это прошлое покоряет меня. Двадцать лет в чужой грязной стране были прожиты без мысли. Я лечил, встречался с людьми, читал, не задаваясь вопросами. Но годы молчания и холодной наблюдательности прошли. Я вижу сейчас варварский разврат, рабский страх, подлость, сплав внешней культурности

и утонченного азиатского варварства и лишь робкие ростки настоящей культуры, любви к ней.

Алексей Клопов (клоп — это что-то кровавое, пахнущее дурно, вызывающий гадливость) — член вотчинного правления, ведает делами училища и госпиталя. Я подчиняюсь ему. Выбившийся из рабов, он забыл о том горестном состоянии, в котором находятся и по сей час его сородичи. Внешняя культурность, вид европейского платья, да несколько глупых фраз из глупых романов не делают его гуманным. Он честолобив, заносчив, мелок и подл. Я часто сталкиваюсь с ним по делам о больных и поражаюсь полной бесчеловечности, желанию сделать свою карьеру на несчастьях других, ему подчиненных.

Подлость, ничем не прикрытая грязь, не отличают и остальных управителей.

В здешней школе я вынужден обучать лекарскому делу юношей — крепостных. Среди них я нахожу людей. Людей в истинном смысле этого слова. Но русская, ужасная для них, действительность не походит на прекрасные идеалы, черпаемые ими из книг. Чем больше они образуются, тем сильнее чувствуют пути, стягивающие их.

Среди таких людей живу и работаю я. Я не стал якобинцем. Но последние годы проходят передо мной. Я вспоминаю молодость, героические мечтания. Этот приступ чувств мне захотелось излить на бумаге... Догорает заря. Темнеет в комнате. На улице слышны голоса пьяных. Как-то, разбирая счета моих предшественников, я нашел твой адрес. Счастлив ли ты?

Дни мои догорают, подобно свече, и кто знает, не последнее ли это письмо. Но часто догорающая свеча, оплывая, вспыхивает ярким пламенем. Прощай. Начинается бессонная ночь...

(Конец главы 8-й)

Шишкин был одинок. Его заводский приказнический дом был пуст и неуютен. Зоревые краски ложились светлыми бликами на пустую красную конторку, падали на неубранную постель, освещали немытую посуду, корки хлеба и рыбы головы на столе.

— Сейчас, сейчас, все чин чином и по чину будет. Столик мы этот к ложу моему придвинем... Сорвем початочку с божьего подарочка, — он откупорил штоф и переливал вино в графин. Потом он поставил на стол стаканы, нарезал толстыми ломтями хлеб, принес соль в жестяной баночке и сел на кровать.

— Ну, Петр Иванович! Федор Степаныч!

Подняли стаканы. Петр поднес к губам, цокнул зубами о край и отпил. Федя поворачивал на уровне глаз. Шишкин опрокинул сразу.

— Хороша! Душу живит! Пейте, пейте...

Петр отпил еще. Горячей струей разлилась по телу слабость. Комната казалась иной. Солнечные блики погасли на конторке. Маленькие окна были в пыли. Углы комнаты скрадывал сумрак.

— Пей, пей и ты, — обратился хозяин к Феде. — Вино чувство отгоняет. Горько тебе — пей, радость прошибла — кому сказать? С кем поделиться? С ним,

с вином. Оно мне вместо сродственников всех. Эх, был и я когда-то по вашей поре — молодости. Парень был я молодой и из себя складный. Лицом не был красен, волос на голове поболее этого было, напротив же, не морщинист был, — улыбнулся он.

— С малолетства приучился я к письменности. Сначала, это перо очинишь, бумагу подашь, чернил нальешь, сбегаете куда, а потом стоишь и смотришь, как буква к букве складно ложатся. Приобвык, сам стал закорючки выводить и дошел... Так, значит... Было мне в ту пору лет двадцать, а может еще и пять. И слюбился я с девкой одной из Бадьинской деревни Черной. Девка была ладная, глаза у нее серые. Как в омут смотришь в них...

Разве перескажешь все, что было. Ночи летом хорошие. Трава запах разносит. Река темная и, гляди — не гляди, не поймешь: течет она или не течет. А в кустах птахи сонные возятся...

Вот решил я на ней жениться. Пришел я к управляющему, а Шардин был тогда кривоглазый, и говорю ему: разрешите, мол, жениться. Нюрку Федотову Бадьинскую хочу взять. Пожевал он губами. «Нет», — говорит.

— Сделай милость, Филимон Иванович, разреши... Рукой только махнул: «Пошел вон, болван!»

— Выпьем?..

...Ну, думаю, коли ты мне не позволяешь, до господ дойду. Написал писульку начальнику Екиму Лазаревичу, отдал ее Клопову — малолеткой он тогда в домовладельческую контору к письменной части направляем был... Тут меня поймали. Писулька та к Шардину попала... Отмыкался я, опаматовался, бежать думал, ну, запил только. На конюшню меня приставили. Нюрка плачет все, я черны от вина и злобы! — Он глотнул как-то с хрипом и потер лоб рукой.

— Так. Выдали ту Нюрку осенью за Бадьинского же, а выбрали для нее самого ледящего, пьяницу беспросветного. Бил он ее. Потом в солдаты его сдали. А я при лошадях на конюшне. Только как-то не было Шардина, а от господ указание пришло: лошадей отборных в столицу доставить. С лошадьми и меня взяли. Так я кучером оказался...

— А не пьете то что. Что не пьете, говорю.

Федя спросил, глядя в сторону: «А Нюрка?»

— Нюрка то? Померла она скоро. Какая жизнь солдатке. Да и была она из себя хлюпinkyя... Ездил я кучером многие лета, а как помер господин наш Еким Лазаревич, распорядились господа молодые письменность знающих в домовую контору отрядить. Да, пил я шибко. А от господ Лазаревых был я продаваем, царство ему небесное и вечный покой, господину Вельминову, и был я у него опять при письменных делах. Было назад лет десять или двадцать...

Собирались у господина моего частовременно господа, военные больше, однако и в штатском бывали. А жил тот господин Вельминов на Мойке. Собирались они, пили водку, огурцом да капустой квашеной закусывали, вот, как мы же, и разговаривали, о чем мне в доподлинности неизвестно было. А меж ними один чернявый в кивере, так тот был главным у них, а глаза у него блестящие, будто

с искорками, и губы в улыбке всегда изогнуты. Стихи он читал громким голосом и говорил всем:

Я пью. А вы — все равно.

О ту пору милостивец и государь наш император помер. Народ по улицам шастает. Солдат к присяге водят. Как-то от день был декабрьский пасмурный. Прибегает к нам лакей господской — Михайло, — а барин наш господин Вельминов в Москву незадолго уехали — прибегает Михайло и говорит: «Пошли скорее. Там солдаты на площади стоят, вот те крест, присягу принимать не хотят. Что-то кричат, не разберу только».

Пошли мы с ним, к шпилью золоченому повернули, потом левее забрали. Народ толпится.

Смотрим, верно, солдаты в ружье на площади стоят, офицеры мимо них похаживают, сапожками притоптывают. Постояли мы, посмотрели, да в трактир погреться и зашли, выпить, значит. Посидев некоторое время, опять туда завернули. А народу пуще прежнего. Господ не видно, а так, из наших больше все. Пробрались мы к площади самой, там бревна лежат, камень. Собор большой строили. Вот мы влезли на бревна, нам все и видать, а рядом мастеровые упоместились. Спрашиваем их, что это, говорю, солдаты стоят?

«Да, говорит, слышно кричат, Константина здравствуют и Конституцию поминают. А еще слышно, хочет он солдатчину сбавить, да и о свободе поговаривают. А баре, те, конечно, допустить не хотят. Опять барабаны бьют, еще солдаты подходят. На конях едут. Лошади пляшут. На мундирах золото поблескивает».

На комнату надвинулся сумрак. Шишкин молча зажег свечи. Снова налил полный стакан. Подвинул графин.

— Пейте, пейте... И я буду. Так вот коней в порядок выстроили, трубы трубят, генералы кучкуются, как пчелы у летка. Конные поводья опустили, каблучками тронули, сабли блестят. Да на своих же, на солдат, что у памятника стоят на площади. Я Михайлу за руку схватил. А парень рядом пригнулся, кирпич в руке, да как размахнется. Там, гляжу, палка — хлоп! А парень этот глаза зажмурил совсем, два пальца в рот, и в свисте покраснел от натуги... Вспять вернулись конные... А тут пушки на рысь везут, генералы скачут. Что, думаю, будет?.. Эх, разболтался я с вами. Пить вы не пьете, сидите, как оглашенные. Я и один выпью, коли не пьете.

— Что же дальше? Дальше-то что? — тянулся к Шишкину Петр.

— Дальше? Пей, пей! Дальше, говоришь? А ничего! Врал я вам все. Ничего не было.

— Нет, было! — вскочил Петр. — Не могло не быть. Я знаю, есть такие люди.

— А ты сядь, выпей. Противу старших не лезь... Мы все вместе выпьем... Спусти много времени давали мне господин Вельминов бумаги в переписку и говорил, что повешен тот, что стихи читал и меня как раз спрашивал, а звали его Кондратий, и он у меня в поминальник записан... А бумаг тех, что я перебеливал, и себе списки списал. Для памяти... Что говоришь?.. А он это меня спрашивал.

Про Нюрку я ему рассказывал, про себя, как драли меня и на конюшню отослали. И про заводское действие. А в бумагах тех и его писуелка... Не вынимаю я их, пусть лежат.

Петр, опасаясь, что Шишкин уже не сможет и встать, торопил его.

— Александр Василич... Александр Василич, где бумаги те, где они, покажите!

— Показать? Ну нет. Молоды вы, зелены... Показать?.. А на что мне их?.. И покажу!

Он встал, пошатываясь, потянулся к конторке, открыл крышку и из-под разных бумаг вытащил серый сверток. Взяв его, он упал на кровать, хотел подняться и не мог. Он бросил сверток на стол. Капли вина темными пятнами легли на бумаги.

— Чти, крепко чти. Вдругоряд не буду я добрым.

Шишкин закрыл глаза, закинул голову и так полулежал, опираясь на локоть.

— Да-а, был человек, душевный человек, а стал только именем в поминаль-нике. — Он запел высоким фальцетом:

— Вечна-а-я па-а-а-мьт, ве-еч-на-а-я па-а-а-мьт...

Оплывали сальные свечи. Трещал фитиль. Уродливая тень металась по стенам и потолку. А голос все выше и выше тянул надгробные рыдания. Слезы смешивались с вином, которое плескалось на бороду, текло по рукам, сливались на грудь.

Сумрачные углы навевали страх. Конторка, казалось, пылала в бликах светлых огней. Федя, бледный, застыл, отшатнувшись к стене. Петр развернул бумаги. «В ночь перед казнью», — прочитал он. «Идем», — тронул Федя за плечо. Бумаги он сунул под рубашку.

Шишкин свалился совсем. Голова его была запрокинута, кадык худой сильно выдался вперед, в бороде застряли слезы и водка. Желтый свет трепыхавшегося пламени свечей гонял по лицу тени. Потушив свечи, Петр и Федя вышли.

Свежий воздух был тих и прозрачен. Казались бредом и рассказы Шишкина, и тонкий голос его на высоких нотах надгробного рыдания, и большая черная тень на потолке и стенах.

Так бумаги попали к Петру.

(Из главы «Чай»)

Глава четырнадцатая

Был июль. Отвратительный месяц. Запах помоев из каналов, на густой воде которых теснились баржи, был тяжел. Кирпичная пыль, известь, стружки наполняли широкие улицы. Сидя на маленьких дощечках среди широких пространств фасадов болтались маляры. Известь и мел стекали с кистей. Маляры красили, напевая.

Город должен быть всегда молод и блестящ.

Он красился и подновлялся. Наполненный влагой воздух был истом и жарок. В этот месяц двор уезжал в анфилады прохладных покоев среди

тенистых парков Павловска. Затем, по той же дороге, тянулся цветной поезд колясок, карет, дормезов. Блестело золото гербов, в крупах сытых лошадей, начищенных и лоснящихся, золотом гербов сияло солнце.

Иван Екимович Лазарев оставался в Петербурге. Дела с Козелетт и Пипинг — англичанами — были неотложны. Усовершенствования, которые надо было вводить в вотчинах, неотложны. Лечиться было неотложно.

А сегодня — Александр Христофорович в партикулярной беседе с бароном Александром Григорьевичем сказал, что именно сегодня можно узнать о Высочайшем решении участи подсудимых. Некоторые соображения по этому поводу были экономическими. Поэтому дело было тоже неотложно.

Он ехал по Невскому, рассеянно оглядывая перспективу, упирающуюся в золотой шпиль. Камергерский мундир был тесен. Духота оттого еще несносней. Он повернул мимо адмиралтейства. Гранитная колонна терялась в широком пространстве площади. Ликующий ангел с крестом неподвижно рвался в беспредельность. Длинный фасад римского амфитеатра полукругом охватывает площадь. Этот храм был воздвигнут для военных чиновников.

Дверь распахнул швейцар. Он был стар и суров.

В приемной ожидал какой-то жандармский полковник и штатский, склонивший оплывшее лицо к рукам, сложенным горсточкой на трости. При виде Лазарева усы над его сухими длинными губами расплзлись в стороны. Лицо изобразило крайнее удовольствие. Он оживился, закивал головой, справился о здоровье, о братце, сказал что-то про погоду. С этим Иван Екимович согласился. Одышка мучила, камергерский мундир и Андреевская лента стесняли свободу движений. Но он никак не мог вспомнить фамилию штатского. Как будто он никогда и не видел? Это было так.

Когда Лазарев вошел в кабинет, затененный тяжелыми шторами, Бенкендорф стоял у стола. Мундир был голубым. Его голубизна соответствовала северному небу. Генерал-адъютантские аксельбанты спокойными округлыми линиями связывали плечи, падали на графскую грудь, обтянутую сукном.

Улыбка была милостивой. Но лицо спохватилось и стало каменным. Указал на кресло, сел сам.

— Вы заехали, ваше превосходительство, я полагаю, чтобы узнать решение. Лазарев кивнул головой.

— Вчера я представлял докладную записку его величеству государю-императору. Он изволил наложить высочайшую резолюцию. Вот она: «Более виновных — в Финляндию, в крепостную работу, в арестантские роты, менее виновных — на Кавказ в полки действующей армии рядовыми». Он склонил голову.

Иван Екимович шевелил шелестящую ленту на животе. Он затруднился в словах. Наконец фраза сложилась в голове.

— Ваше Сиятельство, я хотел бы просить вас из одного только сострадания и человеколюбия христианского — за Десятова, кроткого и трудолюбивого. И именно: освободить его от наказания — отдать его нам.

Бенкендорф потянул дело, лежавшее в стороне. Листнул несколько бумажек и остановился.

— Смею вас уверить, Десятков не заслуживает истинно отеческой заботливости вашей. Он был упрям, ни бумаги, ни заговора не открыл, был злостен в своем заpiresательстве.

Дело захлопнулось.

— Еще одна просьба, если вас не затруднит. Не могу ли я рассчитывать на получение рекрутских квитанций за отдаваемых на Кавказ в солдаты.

Это было экономическим, хозяйственным. И было главным.

— Я думаю, ваше превосходительство, вы сами поймете неуместность данного действия при столь грустных обстоятельствах...

Глаза генерал-лейтенанта закрылись, и голова сникла.

— Да, да, грустных обстоятельствах... Горестные происшествия, смутившие покой России и благоденствие первых дней царствования нашего обожаемого монарха живы еще в сердцах наших... Хотя настоящий пример является лишь плодом безрассудной мечтательности, превратного понятия о своем состоянии молодых людей и вредного направления книг, но среди умножающейся смуты... Вы понимаете, ваше превосходительство, сие важно не само по себе, но по тем действиям, кои могли произойти от умножения сих безосновательных мыслей в среде людей ложно образованных, кои могут вообразить себя Ладгай-жами или Мирабо, а также, и даже более, среди мастеровых.

Он говорил тихо и мягко, но внушительно.

— Где корень зла? Думается, опыт доказал, что ранние, несозревшие учителя и приказчики вредны. Нравственность, примерное служение, усердие предпочесть должно просвещению — неопытному, безнравственному и бесполезному... Основы же суть: время, надзор, помощь необходимая, направление, взыскание, удаление разврата. Нужно, обязательно нужно. Принять все меры осторожности и наблюдения в явном надзоре и тайном присмотре за всеми и за каждым.

Это были основательные мысли. Их надо было высказать. Это были мысли государственные.

Лазарев весь изображал глубокое почтение и понимание.

— Да, да, безнравственному и бесполезному... Да, да, именно: время, надзор за всеми и за каждым, удаление разврата...

Бенкендорф встал. Встав, вспомнил:

— Да, что касается до следствия господина жандармского полковника Певцова о некоторых злоупотреблениях ваших местных управителей, то этому делу хода не дано. Я полагаю, вы сами не преминете произвести необходимые усовершенствования.

Лазарев кланялся. Одышка мучила еще сильнее.

— Да, да, ваше сиятельство, вот именно, усовершенствования. Да, да, и обязательно удаление разврата. И надзор.

Он вышел, кланяясь.